

Пролог

Город засыпает.

Просыпаются чудовища.

Сползаются под окна, шипят, скалятся. Мерцающие взгляды лезвиями рассекают густую ночь — и та опадает к когтистым лапам черными подгнившими лепестками.

Внутренний дворик, окруженный прямыми спинами домов, с наступлением темноты превращается в арену, где нет правил.

Кроме одного.

Убей или будь убитым.

Димка смотрит сверху вниз, сжимая одной рукой половину ножниц — почти с него размером — и упирая острие в красивый, еще свежий после недавнего ремонта пол. За такое мама бы не ругалась — она бы просто раздавила грузом вины и громким молчанием. Ведь Димка не только портит гладкий, будто бы сделанный из дерева настил, но и ребячится, опрометчиво играя с опасными вещами, — хотя в его почти-шестнадцать вроде как не положено. Выученная хорошесть бежит по венам

с кровью, от нее никуда не деться днем. Когда ты — примерный ученик, старший сын и заботливый брат-полунянька.

Наверное, поэтому Димка каждую тревожную полночь превращается в тыкву. Ладно, не в полночь, скорее ближе к трем, и не в тыкву, а в героя. И защищает свой город, обманчиво крохотный, от вторжения тех, кого, как оказалось, не напрасно боятся дети.

Вылетев во тьму вопреки всем законам физики, он замахи-вается грозным оружием и слышит за спиной отчетливое «чпок» — с таким звуком раскрывается красивый детский зонтик, розовый, с котятками. А значит, маленькая принцесса рядом, парит чуть позади, одной рукой придерживая корону — ну куда же принцесса без нее?

Фонари, окружающие площадку, опасно перемигиваются, то одновременно затухая, то вновь ярко вспыхивая. Пары секунд хватит, чтобы одного слишком удачливого героя поймали за щиколотку и впечатали в серое зерно асфальта. Чье-то покрытое зеленой слизью щупальце щелкает слева, в опасной близости, свивается тугими кольцами. Димка видит, откуда оно тянется: кракен цвета маминых румян сидит под сдавливающей его «пау-тинкой», пучит зеленые глаза с вертикальными зрачками. Похо-жие на переваренные сосиски щупальца тянутся вверх — не к Димке, а к маленькой принцессе, парящей над ним в раскрыв-шемся колокольчике платья и забавных кружевных панталонах.

Замахнувшись полуножницами, Димка уходит в штопор, отсекает одно щупальце, затем второе. Они разлетаются к кра-ям площадки, не переставая извиваться. Приземлившись, он припадает на одно колено, поправляет очки костяшкой

указательного пальца — не разбить бы. Взрослым плевать на ночные геройства, не приносящие ни славы, ни денег. Геройства, о которых они даже не догадываются. А вот за очки можно и получить — не подзатыльник, но неподъемный немой укор. Чувство несправедливости все сильнее клокочет где-то между ребер, Димка проворачивает невидимый ключ, открывает иллюзорную клетку — и выпускает его наружу.

Он несется к кракену, разрубая на бегу новые и новые щупальца, и стискивает зубы. Раз. Позади приземляется принцесса, шаркают крохотные босоножки — наполненный ветром зонт тянет ее вперед, не давая остановиться. Два. Димка ныряет под щупальце, спружинив, перескакивает через него, заставляет скрутиться узлом — и гордо усмехается, представив, как кинематографично, должно быть, смотрится со стороны. Три. Невидимые зрители беззвучно аплодируют, не жалея ладоней.

У Димки впереди — душная обыденность, в которой он — совершенно не герой. Такие чаще становятся сайдками* с забавной неброской внешностью, без особых перспектив и способностей. Но здесь и сейчас, под недовольный писк принцессы, он сражает чудовищ, сверкая в свете фонарей пока еще отвратительно белыми кроссовками.

Если бы какой-нибудь несуществующий наглый репортер однажды спросил: «За что вы сражаетесь?», Димка бы, слукавив, ответил: «За спокойствие горожан». Лишь про себя признался

* Сайдик — помощник главного героя или злодея. — *Здесь и далее примечания автора.*

бы: «Мне нравится убивать чудовищ». Без оправдания: «Разве убивать, защищая кого-то — целый город! — так уж плохо?» Себя Димка предпочитает не обманывать, опасаясь однажды просто запутаться, как котенок в пряже, и не выбраться без посторонней помощи. Ну а кому приятно сматывать обратно в клубок чужую ложь?

Димка не кричит, не рычит — бьется молча, пока внутри взрываются петардами эмоции. И когда верные полуножницы вспарывают розоватую плоть почти беззвучно, Димка ловит на своем лице улыбку, которую, к счастью, не замечает принцесса. Иначе расстроилась бы, стукнула бы кулачком, воззвав к совести простым: «Тебе так приятно кого-то обижать?» Уничтожать чудовищ почему-то благородно, а вот получать от этого удовольствие — уже жестоко. Грань тоньше волоска, и не умеющий танцевать Димка неловко отплясывает на ней, пока та не сотрется полностью.

Вой кракена удивительно похож на человеческий голос, и в ответ сердце безумно стучит, подпрыгивая до самого горла. Димка пинает очередное щупальце, не пытающееся его сбросить, скорее болезненно дергающееся, извивающееся дождевым червем, — и опускает полуножницы. По рукам стекает голубая, в ночи кажущаяся скорее черной, кровь. Кракен не в силах выбраться, железная «паутинка» крепко удерживает его — лишь вращаются бешено два изумрудных глаза.

— Дима! — кричит принцесса, а затем начинает бормотать, мурлыкать как котенок.

Димка понимает, взбирается выше парой ловких прыжков. Железные перекладки, на которых он стоял только что, сминает очередное мощное щупальце.

Принцесса не вмешивается. Как и положено принцессе. Но внимательно следит за миром своими огромными глазами. Она — по уши в приключениях, которые затем сможет зарисовать цветными карандашами в новом, пока еще совсем пустом альбоме.

— Спасибо, — хрипло отвечает Димка, рывком вытаскивает полуножницы и соскакивает вниз.

Свободной рукой он бесцеремонно хватается принцессу за шкуру — и под недовольный писк ставит на лавочку. Оставшиеся щупальца то ползут к нему, стремясь ухватить за ноги, то пытаются заткнуть кровоточащий синим надрез. Кракен не один, не один — Димка видит сгустившиеся под деревьями глазастые тени, — но он, пусть и запертый, определенно распугал остальных. Как задиристый школьный верзила.

Получив от принцессы поглаживание по руке, Димка ловит теплую ладошку и, на мгновение задержав ее в своих холодных пальцах, бросается к умирающей твари. Полуножницы рассекают ночь, ловя лезвием истаивающий фонарный свет. Любопытная луна глядит со своего облачного пьедестала, как последним точным ударом герой с отпечатавшейся на лице улыбкой убивает чудовище. Ее Димка, приминая окровавленную кроссовкой обмякшее тело кракена, пытается стереть тыльной стороной ладони.

Обернувшись к ожившим теням, Димка говорит самое банальное из возможного: «Ночь будет длинной» — и кладет полunoжницы на плечо. Говорит — и тут же хлопает себя ладонью по лицу. Но чудовища не слышат, а если слышат, то не понимают. А принцесса слишком занята тем, чтобы платье сидело красиво. И чтобы из-под него не выглядывали кремовые панталоны с бантами. И все равно лицо пылает, обожженное стыдом. А Димка ловко спрыгивает с «паутинки», подняв в воздух ленивое облачко пыли. Он идет, а за ним тянется синяя цепочка следов, которую уже скоро смоем белесое утро.

Часы неумолимо бегут к рассвету, оставляя все меньше времени для геройств. Димка никак не привыкнет к тому, какой удивительно короткой в такие моменты становится ночь: он просто проваливается в нее, такую невозможную, жертвуя сном и рискуя жизнью. Он не задумывается, а можно ли отказаться, поэтому выжимает из ночи все, прежде чем вновь станет обычным собой, с уроками, одноклассниками и домашними заботами. В мире, где никто не знает, что творится с наступлением темноты.

— Дима! — зовет принцесса. Она уже разобралась с платьем и теперь указывает зонтиком на ближнюю тень, расползающуюся на несколько фигур.

Димка до сих пор удивляется, как во все это угодила она, такая хрупкая, точно хрустальный колокольчик. И как чудовища не добрались до нее, не схватили за пятку, не утащили в пыльное — хотя какая там пыль: Димка старательно наводит в комнате чистоту — подкроватье. Принцессино любопытство

безмерно, она практически не боится — возможно, потому, что рядом всегда Димка. Герой с совсем не героической близорукостью, который без очков едва ли отличил бы монстра от дерева. Или от пакета. Или от енота.

И когда Димка выходит вперед, раскручивая полуножницы, принцесса лишь поддерживающе пищит. Она не хлопает в ладоши — громкие звуки заставляют ее закрывать глаза и вздрагивать, — зато внимательно смотрит. И неуклюже убегает от опасности со всей серьезностью, на какую только способна маленькая принцесса, удерживающая под мышкой зонт. Она искренне считает, что помогает уже тем, что не мешает.

Вот бы избавиться еще хоть от одной хищной тени, пока не наступит рассвет. Ведь чудовища не бесконечны. Однажды он очистит город и со спокойной душой отправится отдыхать, высыпаться, будет не только близоруко щуриться в ночь, но и гордо смотреть в светлое будущее. Ведь именно этого от него ждут в негеройском настоящем.

Димка отталкивается от земли и мчится вперед, замахиваясь оружием.

И время замирает.

Глава 1

Двое не спят

Пол липкий от сока. И к нему пристают носки. Они шерстяные, длинные такие, потому что Димка всегда снимает их, схватив у большого пальца и с силой потянув на себя. Он уже вырос из того возраста, когда можно безнаказанно делать глупости. Он делает их наказанно и ничуть этого не стыдится.

Вот и сейчас он сидит за столом напротив заспанного папы, ремешок часов которого прикусывает густые темные волосы на руке, громко швыркает чаем и хрустит сушками. Даже когда мама, безупречная утренняя мама, приподняв одну бровь, бросает тихое, шипящее: «Прекрати». Будто за столом есть кто-то еще.

Завтракать всей семьей — это как пить шампанское под куранты или задувать свечи в день рождения. Тоже традиция, но более регулярная и менее приятная. Потому что родители молчат, переговариваясь одними взглядами, пока Димка с Таськой, его младшей сестренкой со смешной стрижкой-шапочкой, почти синхронно зевают, заталкивая в себя еду, которую, если верить папе, мама готовила с любовью.

Сегодня у маминой любви снова села батарейка: чай холодный, каша дрожит на тарелке желеобразным островом, а ягоды, обычно красиво выложенные, разбросаны, будто кто-то стряхнул их прямо с куста. «Совсем не фотогеничный завтрак», — сказал папа, только войдя на кухню, но его тут же уничтожили молчанием. Мама умеет молчать так, что все внутри болезненно скручивается.

Впрочем, из хаоса яблочных долек Тася собрала цветок, объела вокруг него кашу и теперь клюет носом над тарелкой, почти заваливаясь в нее.

— Опять спит за столом, — недовольно шипит мама. А Димка хрустит баранкой.

— Наташа, да хватит тебе. Она же малая совсем. Небось просто до ночи бесилась. Таська, прием! — Папа легонько стучит указательным пальцем Таське по плечу, и та тихонечко пищит.

Через окно в кухню протискивается белесое утро, пытаюсь заполнить собой все. Сегодня оно раздражающе навязчивое: вместо того чтобы мягко лежать на гладком боку чайника или плясать на тарелках, с беспощадностью боксера бьет в глаза. Димка щурится, глядя на уродский белый тюль через ресницы. Снова хрустит баранкой, за что получает такое ожидаемое:

— Хватит. — Голос звучит громче, резче.

Батарейка мамы почти на нуле. Димкино терпение тоже.

Он как раз заскочил в тот возраст, когда замечания взрослых не нужны. Вот только сами взрослые этого почему-то не понимают. Они считают себя старше, умнее, хвастаются невидимыми шишками, в которые нужно безоговорочно верить,

но при этом забывают, что сами когда-то были маленькими. Димка видел мамины детские фотографии, на которых она с огромными бантами, будто сделанными из того самого тю-ля, в белом платье с юбкой-колоколом. Хотя уже тогда мама выглядела серьезной и, можно было поспорить, умела скручивать внутренности взглядом. Она наверняка справлялась со своим «сложным возрастом» лучше того же Димки. И была уж точно более стойкой, чем Таська.

— Таисия Андревна, — зовет папа, и Таська, все так же пища, пытается обвить его руку и повиснуть на ней. То ли котенок, то ли маленькая мартышка.

— Опять до вечера проспит, а ночью — хрен уложишь. — Мама говорит «хрен» так тихо, будто боится заразить очередным ругательством. По ее мнению, дети редко фильтруют услышанное, фильтры-то у них отрастают годам к восемнадцати, не раньше.

Сложным возрастом она называет переходный — когда ты уже не ребенок, но еще не полноценный взрослый. Димка с этим в корне не согласен: все-таки первая любовь не сможет тебя убить, а родители и так уже достаточно тебя не понимают. Поэтому он и сомневается: ну неужели его чем-то удивит привычный мир? Что нового в нем появится, кроме ЕГЭ и девчонок, успевших вырасти во всяких местах?

— Мы разве тебе чем-то мешаем? — огрызается Димка, понимая: к нему претензии — только за раздражающий хруст баранки. И за носки, которыми он снова прилип к полу и которые теперь медленно отлепляет.

— Что это такое? — Намеренно не обратив внимания на вопрос, мама заглядывает под стол, смотрит на липкий глянец под разлохматившимися носками.

— Сок, — догадывается папа. Видимо, по цвету. — Полагаю, персиковый. Из чашки-непроливайки.

— Из чашки-вполне-себе-проливайки-если-очень-постараться, — ехидничает Димка, а папа хохочет, даже не пряча смех за кашлем.

— Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Дим, почему нельзя было сразу вытереть лужу?

Батарейка на нуле. Мама в гневе. И чтобы заглушить ее громовой голос, требуется десять сушек одновременно. Она обещает посадить — не то на таблетки, не то на цепь. Обещает лишить — то ли телевизора, то ли права голоса. Слова вылетают из ее рта недовольными пчелами. И, как и предполагается пчелам, ужалив, они падают к Димкиным ногам свернувшимися трупиками. Эту правду, про пчел, когда-то рассказал папа, а помогает она до сих пор. Мамины слова жалят и умирают. Димке больно, но он, в отличие от них, хотя бы жив.

— Так мы разве чем-то мешаем? — повторяет Димка, когда пчел у ног становится уж слишком много. Они засохнут и будут хрустеть под домашними тапочками, напоминая о мамином недовольном лице.

— Подумайте, какой умный нашелся. — Мама отправляет в полет еще одну пчелу, но уже ленивую. Маме вечно не достает самого опасного — аргументов, поэтому она берет только взрослостью. И правом требовать что угодно в обмен

на компьютер, телефон и вечернюю прогулку. — Ну хорошо, Дмитрий, — полное имя подчеркивает жирной красной линией серьезность разговора, — сегодня за Таськой присматриваешь ты. Так что после школы чтобы был дома. Как же я от вас устала. У всех дети как дети...

Вот только что-то Димка не видел этих «детей как детей». Ни в школе, ни на площадке. Танька, например, вся увешана серьгами и тройками. После каждого родительского собрания мама обещает убить ее, но на следующий день Танька непременно воскресает и снова идет в школу. Вовку за каждую четверку колотит отец, обладающий даром не оставлять синяков. А может, Вовка просто врет — за привилегии. Его жалеют учителя, а девчонки, те самые, которые по натуре спасатели, прыгают рядом, желая вытащить его из пучины. Машку тошнит от столовской еды, но она до сих пор считает, будто никто об этом не знает, — а ее осиный улей считает РПП* веянием моды, способом следить за фигурой, попросту уничтожая ее: а что, нет фигуры — не за чем следить. А Илья курит и жует хвою, отчего пахнет бабкиной деревенской печкой.

Но мама в упор не замечает их, вспоминая лишь отличников — и непременно тех, кто не перечит родителям. Димка стоит среди них одной ногой. Стать «училкиным любимчиком» мешает единственная четверка по немецкому. Но Димка наслаждается этим несовершенством, не желая получить клеймо, даже шуточное, от друзей.

* Расстройство пищевого поведения.

Иногда, чтобы с кем-то подружиться, нужно быть хоть немного, но сломанным: таких детей вечно сгребают в одну кучу. Вместе им легче противостоять целым и тем, кто себя целыми считает. Димка растет в семье, которую с уважением называют полной. Мама любит папу, папа любит маму, и полюбили они друг друга так, что на свет сперва появился сам Димка, а потом, спустя десять лет, Таська. Родители хорошо зарабатывают, поэтому дырявая одежда мгновенно сменяется новой, а карман Димки оттягивает какая-то свежая модель телефона. Димка учится почти на отлично и даже по физкультуре не отстает, сложен вроде неплохо, умеет держать удар. И только пара незначительных трещинок все это перечеркивает в глазах тех самых целых одноклассников. Очки и непростые отношения с буквой «р», которым не помог даже логопед.

Димку это не огорчает. За него будто сделали выбор — учителя и одноклассники, — к какой компании он примкнет, быстренько разделив класс на своих и чужих. И чужих Димка, как и полагается, не любит. У жизни вообще до ужаса простые правила, хотя в каждом по десятку исключений.

Не бери того, что тебе не принадлежит. Только если человек не козел. Тогда не страшно.

Хочешь найти хорошую работу — хорошо учись. Но когда у твоих родителей до горчицы бабла, можно забыть о красных цифрах в дневнике, тебе и так открыты все дороги.

Ты ребенок ровно до шестнадцати лет. А после шестнадцати — лишь наполовину взрослый.

С шестнадцати лет ты можешь работать. Можешь даже получить срок. Тебе открыт весь тот спектр развлечений, который и взрослым не очень-то нужен.

Через пару недель Димке тоже шестнадцать. И, раскусывая очередную сушку — будто ломая кому-то позвоночник зубами, — он отматывает время назад, внимательно отсматривая, точно кинолентку, прожитые годы и пытаюсь прикинуть, что дальше. От мыслей тревожно — до холодных ног и потных ладоней. Больше всего — за Таську, ведь если он наполовину вырастет, она останется совсем одна в жестоком мире детей, с которым совсем не ладит.

— Хорошо, мам, — отвечает Димка. Мама сдержанно улыбается, явно радуясь, насколько может, своей маленькой победе. Димка и так присматривает за Таськой почти ежедневно. Но маме подчас важно, чтобы он добровольно отдавал ей свою свободу. Наверное, так, по ее мнению, и ведут себя те самые выдуманные «дети как дети».

Утачив у зазевавшейся Таськи яблочную дольку, папа выскальзывает из-за стола и целует маму в макушку. Он позавтракал одним черным кофе, который отчетливо пах палеными волосами, но ему пора в офис — так он говорит. Хотя, когда Димка выходит из дома — на полчаса позже — и тащится с тяжелым рюкзаком в школу, он порой видит папину машину. Но, как и полагается хорошему сыну, молчит. Молчит он и о маминых клиентах, которым она порой жалуется на ничем — кроме денег, конечно, — не помогающего мужа. Димка слышит это опасное жужжание, когда заглядывает в ее студию после уроков. Идеаль-

ность семьи давит на его плечи. Но так уж устроены взрослые: им иногда нужно выносить сор, чтобы дома становилось почище.

— И никаких мультиков, — строго говорит мама, в который раз напоминая, кто дома устанавливает правила. — Можете погулять вместе, но только чтобы со двора — никуда. А потом...

— Потом буквы напишем, — перехватывает нить разговора Димка и тянет на себя, по привычке. Маме иногда нравится эта игра: так Димка кажется ей старше, ответственнее. Потому что действий — учебы, заботы о сестре, помощи в уборке — почему-то не всегда хватает. — И почитаем, — добавляет Димка, ощущая в кулаке крепко зажатую нить.

— Не хочу читать, — хнычет Таська, но скорее из-за того, что не выпалась.

Ей нравятся книги, особенно те, в которых есть принцессы. Таська и сама мечтает быть такой — красивой, скучающей и в длинном платье. Правда, пока ее наряды — по-детски короткие, а под ними — бессменные колготки. Но стоит отдать маме должное: они всегда необычные, с медвежьими рожицами, ромбиками или цветочными узорами. Впрочем, Таське они все равно не по душе. И даже Димкины истории о том, как он в детстве тоже носил такие — разве что попроще — утешают ее лишь на пару секунд.

В коридоре суетится папа, спешно надевает ботинки. Димка может даже не видеть этого, он прекрасно слышит, как начищенная до блеска обувь тихонько стучается каблуками о пол; как папа, ругаясь, одной рукой пытается снять лопатку с крючка, роль которого играет обыкновенный гвоздь; как в очередной раз

проходится по носам щеткой. А затем, посмотревшись в зеркало — перед каждым выходом папа обязан удостовериться, что все в порядке, — он бросает в изогнувшийся буквой «г» коридор:

— Пошел. Всем хорошего дня!

— И тебе! — нестройным хором отзываются Димка и мама. Таська же невнятно мурлычет под нос то ли напутствия, то ли песенку.

Нет для Димки ничего неприятнее утра, которое хочет казаться обычным. Когда все делают вид, будто отвратительно холодный завтрак не похож на клейстер, когда мама старательно прячет обиду на своих неправильных детей, когда папа, проделав свои ритуалы, торопится уйти. А Димка смотрит на плавающий в чае лимон и очень хочет надеть удобную толстовку с капюшоном, разрушив хрупкую иллюзию нормальности.

Но, в очередной раз прилипнув к тому, что когда-то было соком, он заталкивает в себя остатки завтрака — старается не расстраивать маму сверх меры, — встает и идет в свою-Тасину комнату, где в шкафу дожидается идеально выглаженный строгий черный костюм.

* * *

Дети будут всегда.

И монстры будут всегда.

Наверное, криком «Мам, у меня в шкафу чудовище!» уже никого не удивить. Кроме того самого чудовища, которое, вопреки ожиданиям, заметили.

Это непреложная истина, но о ней почему-то молчат. Она приходит сама, как утренний туман, и селится на задворках сознания. О ней в какой-то момент можно даже забыть — за ненадобностью, ведь места в голове мало и оно забито всякой более нужной ерундой. Вроде счетов за квартиру, дедлайнов, на которые вечно жалуется папа, или напоминаний о походах по врачам.

Димка забыть не может. Как тут забудешь, почему на самом деле Таська не спит ночами? И эта правда спокойно соседствует с мыслями о том, что сегодня днем на него в очередной раз нападет чертов немецкий — монстр куда менее опасный. Ведь учитель просто поставит не пятерку, разочарованно посмотрит — будто Димка боится разочарованных взглядов — и переключится на другую жертву, нервно трясущую ладошкой над головами одноклассников. Димка, может, и не знает немецкий в совершенстве. Но он знает слово «scheiße»*. И ему вполне хватает. А еще это веселит Тоху, который считает иностранные ругательства чуть ли не жизненно необходимыми.

Перед уроком Димка грызет ручку. Их приходится менять часто, не может же он, с его идеально начищенными ботинками и дорогими очками, ходить в школу с этим волнистым недоумением? По крайней мере так считает мама. Отделаться от привычки Димка не может. И даже аргумент «Зато хоть не курю» на маму не производит никакого впечатления. Поэтому все остается на своих местах: Димка грызет ручки, а мама, смирившись, покупает новые.

* Дерьмо (нем.).

В голове — околосказочные картинки, вдохновленные сражениями, но слишком дурацкие для его возраста. Но Димке не стыдно, он давно уяснил: если что-то касается твоей жизни и удобства, этого не нужно стыдиться. Впрочем, вываливать это на неподготовленных близких тоже не стоит. Они могут не понять. Они могут навязать стыд. Димка любит ветряные мельницы, а вот сражаться с ними не желает. Ему еще нужны силы. И уж точно не для такой ерунды.

— А кому это скоро шестнадцать? — спрашивает стоящая позади девочка с цветочным именем Роза, которая больше всего на свете ненавидит его полную версию.

— А кто это тут как дурочка разговаривает, а, Розабелла? — вместо Димки откликается Тоха с задней парты, ложится на нее и, судя по возмущенному возгласу, как всегда тычет Розу ручкой.

В ответ Роза тут же обнимает Димку и прижимается к его уху невыросшей грудью в поролоновом лифчике. Ему тоже теперь хочется ткнуть ее ручкой — прямо в ребра, — но он держит себя в руках. И грызет-грызет-грызет колпачок, сжимает в кулаке, не задумываясь о том, что может испачкать чернилами кипенно-белую рубашку.

Роза — тоже сломанная. У нее серые инопланетянские глаза, светлая коса толщиной с кулак — девчонкам на зависть. И заячья губа. А это не просто ярлык уродки, это клеймо. И в комплекте — множество тупых шуток о том, что «у тебя че башка треснула, когда тебя в детстве уронили?».

Конечно, любящие родители постарались сделать все, чтобы Роза в школе не чувствовала себя чем-то вроде черного пятна в нетронутой белой тетради. Но даже шрама, тянущегося от верхней губы до носа, детям хватило — и они начертили вокруг себя невидимый круг, за пределы которого выдворили Розу. Впрочем, она не осталась одна. «Четырехглазый картавый» Димка, заметив, как она в очередной раз скулит в красивый кружевной платок, без спроса взял ее под локоть и привел к еще диковатому Тохе. И стал про себя звать их маленькую компанию красиво и просто — сломанными.

— Заткнись, Антон Штопаний, — шикает на него Роза. Так она даже симпатичная — когда не строит из себя взрослую, а просто дурачится.

— Не видишь, что ли, Димас опять в себя ушел. Положить ему на твои заигрывания, хоть на парте разложись, — усмехается в ответ Тоха.

— Разлягся, — тут же поправляет Роза, даже не думая расплетать узел из своих рук на Димкиной шее.

— Окно открой, душно стало. — На этом остроты у Тохи заканчиваются, хотя в них он преуспел как никто.

В отличие от Розы и Димки, трещинок, с ходу бросающихся в глаза, у него нет. Но родители наградили Тоху кое-чем другим. Пожелтевшими рубашками, старыми отцовскими ботинками, котлетами в термосе. В довесок к этому у Тохи есть кое-что еще, не подаренное мамой и папой, но приобретенное. Церберский характер, оберегающий бедность от нападков. Хотя

одноклассники зовут Тоху далеко не Цербером, а попроще — Псиной.

Но, как в стихотворении Маршака про багаж, собака подросла: Тоха вытянулся, сменил детскую округлость на привлекательную для девочек подростковую угловатость, обзавелся улыбкой, от которой даже привыкшая к нему Роза иногда краснеет. Одноклассницы все еще кричат ему в спину оскорбления, но куда менее уверенно. У Тохи все еще котлеты в термосе, желтоватые рубашки, папины ботинки. Хотя он подрабатывает. Хотя может позволить себе что получше. Но, как говорит сам Тоха, на мангале вертел он статусность. И это звучит взросло.

— Опять Таська не спит? — интересуется Тоха, и ручка врежется теперь уже под не защищенную Розой лопатку Димки.

— Угу.

Тоха знает полуправду. Ту часть истории, в которой все обычно. А туманная истина клубится на задворках сознания.

— А ты не пробовал, там, сказку ей почитать? Или побеситься перед сном?

Раньше Тоха, единственный ребенок в семье, не придерживающейся заечно-лужаечной традиции, высказывался резче. Димка был его другом, Таська — лишь мешающим капризным недоразумением. Поэтому Цербер рвался наружу, чувствуя угрозу, пытался защитить того, кто об этом не просил, и очевидно ждал благодарности. Но вместо благодарности дело стремительно катилось к драке.

И в какой-то из дней благополучно докатилось.

Роза плакала, Роза кричала, Роза мяла свою короткую юбку, обещая позвать как минимум учителей. Конечно же, никого бы она не позвала, но Димка тогда боялся не этого. Он знал: если хоть раз ударит Тоху, то не остановится, пока не сломает ему что-нибудь. Поэтому он просто ждал. Таську следовало оберегать от настоящей опасности, а не от туповатого друга, который пытался «как лучше».

Тоха ударил первым. Вернее, Тоха просто ударил, а Димка так и стоял, сжав кулаки, будто по-страшному затупил. А ведь это он предложил побеседовать за школой, он первым скинул портфель в недавно раскатанный рулон зеленой травы. От влетевшего в живот кулака почти не было больно, но Димка все равно осел на бордюр. И услышал над головой почти испуганное «Ты че?». Тоха не собирался добивать ногами. Он вообще будто перестал понимать, что происходит. И, стараясь не выглядеть совсем уж по-идиотски, Димка в тот момент выдал что-то вроде:

— Я не брошу сестру одну. Но и друга терять я тоже не хочу.

— А ты у нас типа философ? — хохотнул Тоха, усаживаясь рядом.

И вместо честного «Нет, я бы просто взял вон ту палку и хреначил бы тебя по башке, пока что-то из этого — башка или палка — не сломалось бы» Димка ответил короткое:

— Типа того.

Вскоре Тоха — да и Роза тоже — сам познакомился с Таськой, робкой, но любопытной маленькой принцессой. Она напоила гостей понарошечным чаем из пластиковой посуды

и утащила из холодильника вполне настоящие эклеры, за что получила нагоняй от мамы, специально отложившей шоколадные, свои любимые. А вот папа гостеприимной хозяйкой гордился. Возможно, потому что это были не его эклеры.

— Сегодня на площадку с ней пойдем. Буду ее раскручивать на качелях, пока не стошнит. — Димка пытается выглядеть бодрым, пусть и знает наперед: не сработает. И уж скорее стошнит его от постоянно мельтешащего Таськиного платья.

— Мне в детстве книжки помогали. Взрослые. Вроде Достоевского, — вклинивается Роза, прижав палец к губам. Она отступает, наконец дав Димке немного свободы. — Если мама хотела, чтобы я уснула, она брала русскую классику — и меня мигом вырубало.

— До сих пор вырубает, — усмехается Тоха, и Роза тут же лягает его парту. Та недовольно дребезжит, а вместе с ней подпрыгивают Тохины ручки и карандаши.

— И Достоевского попробую. — Будто это еда какая-то модная. Но не решающая проблемы.

Бессонница случалась и раньше — с тех пор как Таська начала ходить и совсем немного разговаривать. Причинами она щедро делилась с родителями, которые списывали все на ее богатую фантазию. А потом Таська потянулась к Димке, как к последнему защитнику, залепетала огрызками слов, пытаясь объяснить хоть что-то. Так Димка понял, что его мир был из мутного стекла. За которым пряталось то, чего он видеть определенно не хотел, но теперь уже не мог не замечать.

— Так что насчет праздника? — Роза возвращает его в реальность, плюхаясь на соседний пустующий стул. — Еще не думал?

— Да не до этого как-то, — вздыхает Димка абсолютно честно и вновь грызет уже изрядно потрепанную горькую поп-ку ручки. — К тому же что тут праздновать?

Головой он понимает: если верить взрослым, у него скоро будет больше свободы, больше возможностей, больше — всего. Но как тут радоваться, когда все мысли заполнены желанием спать, Таськой и немецким?

— Ну тогда мы с Антоном что-нибудь придумаем. — От имени Тоша Тоха ее отучил быстро. Потому что Тоша — это тот, кого тошнит, не иначе. Звучит даже похуже Псины. Но Роза нашла не менее раздражающий аналог.

Ее слова не утешают. Под «чем-нибудь» может скрываться что угодно, вплоть до посиделок в подъезде с дешевым пивом. Хотя Димка не настолько плохого мнения о друзьях. Роза скорее предпочтет удивить кулинарными талантами, а Тоха по случаю еще-немного-и-шестнадцатилетия подарит на кровно заработанные что-то до одури символичное, что Димка будет хранить до конца школы точно: он еще не думал о том, как долго продлится их дружба. Он пока вообще предпочитает не смотреть так далеко вперед. Он чувствует себя страусом, который прячет голову в сырой цемент. Еще немного — и цемент засохнет, а Димка или не сможет спрятаться в очередной раз, или наоборот — застрянет. И непонятно, что хуже. С одной

стороны, пройдет бессонница и станет на головную боль меньше — не слишком ли серьезно для Димкиного возраста? С другой — появятся новые проблемы, обыденные, приковывающие человека кандалами к реальному миру и постоянно напоминающие о себе. А Таська... кто будет защищать Таську?

Димка частенько задается вопросом: с чего он вообще решил, что шестнадцатилетие гильотиной отсечет его от детства? И не находит ответа. Будто это еще одна непреложная истина, которую никто не обязан ему объяснять. Димка просто ощущает ее. Он ожидает от взросления не того же, чего окружающие: про это он вдоволь начитался в поучительных подростковых книгах, написанных кастрированным языком, из-за чего предложения выглядят так, будто никого не желают обидеть. И больше не хочет заглядывать в них. Даже подаренную он благополучно отнес в библиотеку, чтобы разделить страдания со случайным мальчишкой, который вдруг захочет взять ее домой.

И если за эту пару недель появится кто-то, хотя бы отдаленно разбирающийся в проблемах взросления, — появится из-за границ стеклянного мира, — Димка сгребет в охапку все скопившиеся в голове «почему» и вывалит их, надеясь получить ответ. Пусть даже лишь один.

* * *

Посмотрев на ночь фильм ужасов, люди часто начинают бояться больше. Кажется, будто вся нечисть мира решает перебраться в их квартиры, притом на постоянное место жительства.

О, как же они ошибаются. Она, эта самая нечисть, там всегда. И то, что человек не видит ее, никак не спасает от последствий. Это как если ты бегаешь в наушниках. Слушаешь звуки природы, отрезав себя амбушюрами от других звуков природы, и совсем не замечаешь мотоцикл, который мчит на полной скорости. Хороший вопрос, откуда в лесопарке взяться мотоциклу. Хороший, но ненужный. Гонщик собьет тебя, даже если ты так и не увидишь его. И только это имеет значение.

Поначалу Димке было сложно ужиться с этой мыслью. Сказалась детская остаточная наивность, диктовавшая ему поскорее зажмуриться, отвернуться. «Я этого не вижу, а значит, этого нет». Мантра, никак не влияющая ни на счета за квартиру, ни на чудовищ. Хотя по отношению к некоторым людям, например, она работает.

О том, что они, чудовища, существуют, Таська говорила с тех пор, как вообще научилась говорить. К тому моменту она уже уверенно исследовала квартиру на своих двоих и с непонятным Димке удовольствием закидывала бананы — да и другую еду — в брюхо стиральной машины. Впервые испугавшись ночью, Таська побежала будить маму и папу. Родители — две грозные тучи — конечно же, подхватили Таську на руки, соорудили ей гнездо из одеяла в своей кровати, где вполне хватило бы места для еще одного маленького человека, и она задремала. Следующей ночью она свила себе гнездо сама и, забравшись в его мягкое нутро, задумчиво выдавала:

— Не страшно! — ужасно исковеркав даже эти несложные слова.

Дальше гнездилась она каждый вечер и продолжала говорить — про длинных зубастых рыб, пауков с человеческими головами, мужчину с вывернутыми конечностями и маской вместо лица, — но уже с меньшим испугом, больше с интересом. Димка слушал вполуха, собирая портфель, пока сонная Таська перекаtywалась на родительской кровати, которую по праву уже считала своей, но не запоминал. И ее это, кажется, вполне устраивало. Родители же хотели ее вразумить, но как-то не очень старались. Мама быстро обращалась знакомой тучей, а папа придумывал себе занятие — каждый раз серьезное, — которое засасывало его с головой, не давая отвлечься ни на минуту.

Это продолжалось недолго, до первой истерики. Не маминей, Таськиной. Хотя и мама была недалеко от этого.

Таська снова начала бояться — сразу после того, как грозовая туча в форме мамы вернула пищащий комок в их с Димкой комнату. Страх накатывал волнами, под утро оставляя в напоминание о себе тревожных пенных барашков. Спокойная ночь — и вдруг очередной прилив, очередные крики, очередные слезы в глазах черничного цвета. Димка все так же слушал вполуха и обнимал, а вот мама свои уши с красивыми и явно дорогими цветочными сережками жалела, не позволяя заменить привычные украшения Таськиной чудовищной лапшой. И если мамина любовь была устройством на батарееке, то терпение скорее напоминало не самый вместительный графин. Тогда он разбился, расплескав содержимое, разметав острые осколки, которые задели, кажется, всех.

Таська выла сигнализацией — на разные лады, с короткими паузами-передышками. И было видно: это не попытка поставить в споре самую громкую в мире точку, а крик отчаяния маленькой девочки, которую не слышат и не хотят слышать родители, уставшие от бесконечных небылиц. Когда голоса не осталось — лишь хрипы попеременно с кашлем, — Таська принялась плакать, мама — ругаться. Каждая отстаивала свою правду, абсолютно не желая выслушать чужую.

Раньше Таська легко забывала обиды, будто выкидывала за ненужностью в мусорную корзину вместе с многочисленными фантиками, ведь мир дарил ей столько новых красок. Однако эта задержалась с ней надолго.

Мама давила Таську молчанием, а Димке и папе иногда бросала фразы таким тоном, будто они провинились не меньше. Таська отвечала тем же — упрямо сжатыми губами, нетронутой едой и отсутствующим взглядом: Таська спряталась от всех глубоко внутри себя. И о том, что она не знает, как выбраться, первым догадался Димка.

— Таська молчит, — сказал он однажды маме, на что получил вполне логичный, но такой сердитый ответ:

— И что? Пускай и дальше молчит. Может, думать научиться.

А ведь Димке всегда казалось, что, когда тебе три, учить думать должны взрослые, а не бойкот. Возможно, Димка просто ничего не понимал в воспитании и, если он открыл бы рот и усомнился в правильности методов, мама непременно раззумила бы и его.

— Она и со мной молчит, — добавил Димка и ушел. На тот момент игра в молчанку шла уже третьи сутки.

Дальше были врачи разной компетентности, мамины слезы — по себе или по Таське? — и папины ложные заверения о том, что она все-таки хорошая мать. Димка не лез, Димка молчал вместе с Таськой, теперь походившей на очень большую куклу. Он попросту не понимал, что сказать девочке, вмиг утратившей интерес ко всему. Только ночью Таська порой ненадолго оживала, чтобы зарыться в угол, соорудив слабое подобие прежних гнезд.

Вскоре врачи вместе с родителями все же к чему-то пришли. Мама и папа заглянули в комнату Димки и Таськи с самыми серьезными лицами, похожими на две восковые маски, и сказали:

— Милый, твоя сестра болеет.

Димка удивился. Но скорее обращению, потому что милым он перестал быть лет этак в пять. А вот болезнь Таськи его, на тот момент почти пятнадцатилетнего, нисколько не шокировала. Он догадался. Когда Таська растеряла все свои выученные буквы и слова.

— Чем? — ровно спросил тогда Димка, но родителей его реакция почему-то не устроила: мама скривилась, как если бы учуяла запах послефизкультурного носка, хоть и тщательно попыталась это скрыть.

— У нее проблемы... — Мама наверняка силилась найти нужное определение для сына, не ставшего даже наполовину взрослым.

— С головой, — помог ей папа, за что мама тут же толкнула его плечом. На мамином языке это значило «Не мог помолчать?».

— Ее можно вылечить? — Димка сидел за уроками, под конусом света от настольной лампы, и ждал, когда ему расскажут хоть что-то. Но родители явно щадили его детские чувства.

— Конечнo, — протянула мама. И это, естественно, была полуправда. — С ней будут заниматься врачи. И мы.

Внезапно в этом «мы» Димка заметил себя. Того себя, которому даже не сказали, что с Таськой и как ей помочь. Того себя, который и собственные-то проблемы решить не мог, а на него уже взвалили чужие. Того себя, которому... было четырнадцать, мама, четырнадцать лет.

Первые месяцы батарейка маминой любви казалась практически бесконечной, автозаряжаемой. Мама готовила фотогеничную еду, помогала Таське искать потерянные буквы, интересовалась Димкиной учебкой и даже обнималась — чего давно уже не случалось. А если и случалось, то не с Димкой точно. Но Таська вновь теряла буквы, Димка не спешил откровенничать, а папа настолько привык к маминой заботе, что сменил руки на лапки — а уж ими ни посуду помыть, ни со стола убрать.

Что делал все это время Димка? Ходил в школу, оттирал чужие следы со своего портфеля (их стало значительно меньше в сравнении с прошлым годом), будто специально созданного, чтобы на нем топтались, и тоже занимался с Таськой. Настал его черед говорить, а ее — слушать. И делала она это, как ему казалось, с большим интересом.

Но вот мамина батарейка села. И мама вернулась к привычной жизни, вычеркнув слово «больная», стоявшее перед словом «дочь». У Таськи все еще были врачи — и один уж слишком навязчивый логопед, будто ненавидевший Димкину странную «р», — и лекарства тоже были. А Димке все еще никто не говорил, какой у Таськи диагноз и что с ним делать. Видимо, до понимания его Димка пока не дорос, хотя к пятнадцатому году и начал наконец вытягиваться, потихоньку нагоняя Розу — самую долговязую в классе.

Зато четырнадцать лет вполне хватало, чтобы взвалить на Димку ответственность, — и ее щедро встряхнули ему на голову, с каким-то даже садистским удовольствием. Мама слишком хотела свободы, но могла получить ее лишь одним способом — забрав у кого-то. И Димка отдал свою почти покорно, выслушав перед этим утешительное «Но это же не каждый день». Легче не сделалось ни на грамм.

Так в его жизни стало очень много Таськи. Настолько, что она порой вытесняла все, кроме учебы. И пока мама обретала прежние интересы и друзей, контакты которых давно покрылись пылью, Димка только терял, по большей части — время. В какой-то момент ему даже показалось, что скоро он возненавидит Таську. Но этого не случилось. На нее вообще удивительным образом не получалось злиться.

Какое-то время внутри Таськи будто не было ее самой. В ней погасло маленькое солнце, до того пытавшееся проникнуть во все уголки квартиры. Бананы так и лежали на столе нетронутыми, стиральная машина пережевывала исключительно